

**Фрэнсис Фицджеральд**

**Великий Гэтсби**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84-4

**Фрэнсис Фицджеральд**

Великий Гэтсби / Фрэнсис Фицджеральд – М.: Книга по Требованию, 2011. – 106 с.

**ISBN 978-5-4241-1473-1**

Роман "Великий Гэтсби" (1925) - самое значительное произведение известного американского прозаика XX века Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которое повествует о крахе "американской мечты" - романтизированной идеи преуспевания, доступного каждому. Главный герой романа, Гэтсби, добивается успеха и богатства в надежде на счастье, но не может осуществить свои романтические идеалы в обществе, где царит культ богатства, жадности и равнодушия. Непринужденное повествование, мастерски передающее ощущение эпохи "века джаза", отличается тонким психологизмом и образностью языка.

**ISBN 978-5-4241-1473-1**

© Издание на русском языке, оформление, «

YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «

Книга по Требованию», 2011

Фрэнсис Скотт Фицджеральд  
Великий Гэтсби



# ГЛАВА I

В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.

— Если тебе вдруг захочется осудить кого то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.

К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях — привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурям и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться; еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверили мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия — сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.

А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву — твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение, — Гэтсби, казалось, воплощавшего собой все, что яскренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом», — это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скротечным печалям и радостям вспыхах.

Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Каррауэй — это целый клан, и, по семейному преданию, он ведет свою родослов-

ную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в Федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.

Я никогда не видел этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в кабинете. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контраступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обретанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был создан весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмурия лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось — навсегда.

Благоразумней было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я еще не успел отвыкнуть от широких зеленых газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом — крытую толем хибарку за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться самому. Я завел собаку, — правда, она сбежала через несколько дней, — купил старенький «додж» и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.

— Не скажете ли, как попасть в Уэст-Энг? — растерянно спросил он.

Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца.

Солнце с каждым днем пригревало сильней, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается съезнова.

Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая червонным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружились литературные склонности — я как-то написал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского

вестника», — и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов — так называемым человеком широкого кругозора. Это не парадокс парадокса ради; ведь, в конце концов, жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь ее из единственного окна.

Случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных mestечек Северной Америки. На длинном, прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных почвенных образования. Милях в двадцати от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всем Западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделенных лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал — только, подобно Колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен еще более удивительный — полное различие во всем, кроме очертаний и размеров.

Я поселился в Уэст-Энге, менее, — ну, скажем так: менее фешенебельном из двух поселков, хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идет речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по двенадцать — пятнадцать тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа — точная копия какого-нибудь Hotel de Ville в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в сорок с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом аким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров — все за восемьдесят долларов в месяц.

На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Энга, и, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой «додж» и поехал на ту сторону, к Бьюкененам в гости. Дэзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал еще по университету. И как-то, вскоре после войны, я два дня прогостили у них в Чикаго.

Том, наделенный множеством физических совершенств — нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, — был фигурай, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты, — уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания, — и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привез, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей.

Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футбалиста.

Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Этт навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась еще изысканней, чем я рисовал себе. Веселый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону пролива. Зеленый газон начинался почти у самой воды, добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и, наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы с разбегу взлетал по стене вьющимся виноградными лозами. Ряд высоких двусторчатых окон прорезал фасад по всей длине; сейчас они были распахнуты навстречу теплому вечернему ветру, и стекла плавнели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он изменился с нью-хайвенских времен. Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могут им икрам тесно в глянцевитых крагах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы, — жесткое тело.

Он говорил резким, хрипловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, — человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности, — в Нью-Хайвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я не вам чета, но все же можете не считать мое мнение непрекаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и, хотя дружбы между нами никогда не было, мне всегда казалось, что я ему нравлюсь и что он по-своему, беспокойно, с вызовом, старается понравиться мне.

Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце.

— Недурное у меня тут пристанище, — сказал он, посверкивая глазами по сторонам.

Слегка нажимая на мое плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвел открывавшуюся с крыльца панораму, включая в нее итальянский, уступами расположенный сад, пол-акрапряно благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя.

— Я купил эту усадьбу у Демэйна, нефтяника. — Он снова нажал на мое плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери. — Ну, пойдем.

Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое простран-

ство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто враставшей в дом. Легкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, разевавшиеся, точно бледные флаги, — то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному ковру рябью бежала тень, как по морской глади под бризом.

Единственным неподвижным предметом в комнате была исполнинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полета по дому. Я, наверно, несколько мгновений простоял, слушая, как полошутся и хлопают занавеси и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло — Том Бьюкенен затворил окна с одной стороны, — и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси, и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и пришли в неподвижность.

Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своем конце тахты и лежала не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у нее стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она и заметила меня краешком глаза, но виду не подала; и от растерянности я чуть было не забормотал извинений, что помешал ей своим приходом.

Другая — это была Дэзи — сделала попытку встать: слегка подалась вперед с озабоченным выражением; но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану.

— На м-меня от радости столбняк нашел.

Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что шепоток Дэзи — уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишающий эту манеру прелести.) Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула ее назад — должно быть, предмет, стоявший у нее на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадет. Мне снова неудержимо захотелось извиниться.

Апломб и независимость, в чем бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще.

Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дэзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины, — певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди.

Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго, и передал ей привет от десятка друзей.

— Так обо мне там скучают? — лицу восклекнула она.

— Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено

черной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями.

— Какая прелест! Давай вернемся, Том. Завтра же! — И без всякого перехода она добавила: — Посмотрел бы ты на нашу малышку!

— Я бы очень хотел на нее посмотреть.

— Она уже спит. Ей ведь три года. Ты ее никогда не видал?

— Никогда.

— Ну, если бы ты только на нее посмотрел... Она...

Том Бьюкенен, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо.

— Чем теперь занимаешься, Ник?

— Кредитными операциями.

— У кого?

Я назвал.

— Никогда не слыхал, — высокомерно уронил он.

Меня задело.

— Услышишь, — коротко возразил я. — Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке.

— О, насчет этого можешь быть спокоен, — сказал он, глянул на Дэзи и тотчас же снова перевел глаза на меня, будто готовясь к отпору. — Не такой я дурак, чтобы отсюда уехать.

Тут мисс Бейкер сказала: «Факт!» — и я даже вздрогнул от неожиданности: это было первое слово, которое она произнесла за все время. По-видимому, ее самое это удивило не меньше, чем меня; она зевнула и два-три быстрых, ловких движения оказалась на ногах.

— Я вся как деревяшка, — пожаловалась она. — Невозможно столько времени валяться на диване.

— Пожалуйста, не смотри на меня, — отрезала Дэзи. — Я с самого утра пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк.

— Спасибо, нет, — сказала мисс Бейкер четырем бокалам с коктейлями, только что появившимся на столе. — Никогда не пью накануне.

Хозяин дома с недоверием посмотрел на нее.

— Уж будто! — Он залпом осушил свой бокал, словно там только и было что на донышке. — Как тебе что-то удается, для меня загадка.

Я посмотрел на мисс Бейкер, стараясь угадать, что такое ей «удается». Смотреть на нее было приятно. Она была стройная, с маленькой грудью, с очень прямой спиной, что еще подчеркивала ее манера держаться — плечи назад, точно у мальчишки-кадета. Ее серые глаза с ответным любопытством щурились на меня с хорошенько, бледного, капризного личика. Мне вдруг показалось, что я уже видел ее где-то, может быть, на фотографии.

— Вы живете в Уэст-Энг? — протянула она несколько свысока. — У меня там есть знакомые.

— А я там никого не...

— Не может быть, чтоб вы не знали Гэтсби.

— Гэтсби? — спросила Дэзи. — Какой это Гэтсби?

Я хотел было сказать, что это мой ближайший сосед, но тут доложили, что кушать подано, и Том Бьюкенен, властно прижав мускулистой рукой мой локоть,

вывел меня из комнаты, точно шахматную фигуру переставил с клетки на клетку.

Томно, неторопливо, слегка придерживая платья на бедрах, обе молодые женщины шли впереди нас к столу, накрытому на розовой веранде, обращенной к закату. Четыре свечи горели на столе, затихающий ветер колебал их пламя.

— Это еще зачем? — нахмурилась Дэзи и пальцами погасила все свечи. — Через две недели будет самый долгий день в году. — Она обвела нас сияющим взглядом. — Случалось вам когда-нибудь ждать этого самого долгого дня — и потом спохватиться, что он уже миновал? Со мной это каждый год случается.

— Давайте придумаем что-нибудь, — зевнула мисс Бейкер, усаживаясь за стол с таким видом, словно она укладывалась в постель.

— Давайте, — сказала Дэзи. — Только что? — Она беспомощно оглянулась на меня. — Что вообще можно придумать?

Не дожидаясь ответа, она вдруг с ужасом уставилась на свой мизинец.

— Смотрите! — воскликнула она — Я ушибла палец. Мы все посмотрели — сустав посинел и распух.

— Это ты виноват, Том, — сказала она обиженно — Я знаю, ты не нарочно, но все-таки это ты. Так мне и надо, зачем выходила замуж за такую громадину, такого здоровенного, неуклюжего дылду.

— Терпеть не могу это слово, — сердито перебил ее Том. — Не желаю, чтобы меня даже в шутку называли дылдой.

— Дылда! — упрямо повторила Дэзи.

Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой, бессодержательной болтовне не было легкости, она была холодной, как их белые платья, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали: скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое. Все это было совсем не так, как у нас на Западе, где всегда с волнением торопишь вечер, час за часом подгоняя его к концу, которого и ждешь и боишься.

— Дэзи, рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным человеком, — пожаловался я после второго бокала легкого, но далеко не безобидного красного вина. — Давай заведем какой-нибудь доступный мне разговор, ну хоть о видах на урожай.

Я сказал это не думая, просто так, но мои слова произвели неожиданный эффект.

— Цивилизация идет наスマрку, — со злостью выкрикнул Том. — Я теперь стал самым мрачным пессимистом. Читал ты книгу Годдарда «Цветные империи на подъем»?

— Нет, не приходилось, — ответил я, удивленный его тоном.

— Великолепная книга, ее каждый должен прочесть. Там проводится такая идея, если мы не будем настороже, белая раса... ну, словом, ее поглотят цветные. Это не пустяки, там все научно доказано.

— Том у нас становится мыслителем, — сказала Дэзи с неподдельной грустью. — Он читает разные умные книги с такими длиннющими словами. Том, какое это было слово, что мы никак...

— Не просто книги, а научные труды, — возразил раздраженно Том — Этот

Годдард развивает свою мысль до конца. От нас, от главенствующей расы, зависит не допустить, чтобы другие расы взяли верх.

— Мы должны сокрушить их, — шепнула Дэзи, свирепо подмигивая в сторону солнца, пламеневшего над горизонтом.

— Вот если бы вы жили в Калифорнии... — начала мисс Бейкер, но Том прервал ее, шумно задвигавшись на своем стуле.

— Суть в том, что мы — представители нордической расы. Я, и ты, и ты, и... — После мгновенного колебания он кивком головы включил и Дэзи, и она тотчас же снова подмигнула мне. — И все то, что составляет цивилизацию, создано нами — наука там, и искусство, и все прочее. Понятно?

Было что-то патетическое в его настойчивости, как будто ему уже мало было упоминания собственной личностью, с годами еще возросшего. Где-то в доме зазвонил телефон, лакей пошел ответить на звонок, и Дэзи, воспользовавшись минутным отвлечением, наклонилась ко мне.

— Я тебе открою фамильную тайну, — оживленно зашептала она. — Про нос нашего лакея. Хочешь узнать тайну про нос нашего лакея?

— Я только за тем и приехал.

— Ну слушай: раньше он был не просто лакеем, он служил в одном доме в Нью-Йорке, где имелось столового серебра на двести персон, — так вот, он заведовал этим серебром. С утра до вечера он его чистил и чистил, и в конце концов у него от этого сделался насморк...

— Дальше — хуже, — подсказала мисс Бейкер.

— Верно. Дальше — хуже, и дошло до того, что ему пришлось отказаться от места.

Заходящее солнце прощальной лаской коснулось порозовевшего лица Дэзи; я прислушивался к ее шепоту, невольно сдерживая дыхание и вытянув шею, — но вот розовое сияние померкло, соскользнуло с ее лица, медленно, неохотно, как ребенок, которого наступивший вечер заставляет расстаться с весельем улицы и идти домой.

Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, пошел в комнаты. У Дэзи словно что-то быстрее завертелось внутри, она снова наклонилась ко мне и сказала напевным, льющимся голосом:

— Ах, Ник, если бы ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на... на розу. Ведь правда? — обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением. — Он настоящая роза.

Это был чистый вздор. Во мне нет ничего, даже отдаленно напоминающего розу. Она сболтнула первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных, огораживающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты.

Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражавшими взглядаами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери глухо доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно беззастенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих.